Москва – Петушки

Автор:
Венедикт Ерофеев

Москва – Петушки

Венедикт Ерофеев

Венедикт Ерофеев – явление в русской литературе яркое и неоднозначное. Его знаменитая поэма «Москва – Петушки», написанная еще в 1970 году, своего рода философская притча, произведение вне времени, ведь Ерофеев создал в книге свой мир, свою вселенную, в центре которой – человек, «человек, как место встречи всех планов бытия». Впервые появившаяся на страницах журнала «Трезвость и культура», поэма «Москва – Петушки» стала настоящим откровением для читателей и позднее была переведена на множество языков мира.

«Во вселенной Ерофеева не существует здравого смысла, логики, тут нет закона, порядка. Если смотреть на него снаружи, он останется непонятым. Только включившись в поэтику Ерофеева, только перейдя на его сюрреалистический язык, только став одним из персонажей, в конце концов – соавтором, читатель может ощутить идейную напряженность философско-религиозного диалога, который ведут „високосные люди“. Но и тогда читатель сможет узнать ерофеевскую картину мира, но не понять ее. Истину ведь вообще нельзя получить из вторых рук» (А. Генис).

Венедикт Ерофеев

Москва – Петушки

© Венедикт Ерофеев (наследник), 2014

© А. Генис, статья, 2014

© В. Пожидаев, оформление серии, 1996

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Уведомление автора

Первое издание «Москва – Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получал с тех пор много нареканий за главу «Серп и Молот – Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и Молот – Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «И немедленно выпил» следуют полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «И немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу «Серп и Молот – Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «И немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и Молот – Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут

оскорблены.

В. Ер.

Вадиму Тихонову,

моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы

Москва. На пути к Курскому вокзалу

Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видел Кремля.

Вот и вчера опять не увидел, – а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декокта люди ничего лучшего еще не придумали.

Так. Стакан зубровки. А потом – на Каляевской – другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-дессерт.

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше – что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню – это я отчетливо помню – на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо,

ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.

Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вчера – выйду сегодня.) И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик – и так и уснул). Нет, не потому мне обидно. Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть рублей, – а что и где я пил? и в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?

Что это за подъезд, я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают – все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, – все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.

«Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – ничего. Вон – аптека, видишь? А вон – этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо – иди направо».

Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! о, иллюзорность бедствия! о, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени, чего в ней больше: паралича или тошноты? истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-

таки больше: столбняка или лихорадки?

«Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево – попадешь на Курский вокзал; если прямо – все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть».

О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа – время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Веничка, иди.

Москва. Площадь Курского вокзала

Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо – обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты – вот и получай свою суету…

– Да брось ты, – отмахнулся я сам от себя, – разве суета мне твоя нужна? люди разве твои нужны? Вот ведь Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то говорил: «Что мне до тебя?» А уж тем более мне – что мне до этих суетящихся и постылых?

Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило…

– Конечно, Веничка, конечно, – кто-то запел в высоте так тихо, так ласково-ласково, – зажмурься, чтобы не так тошнило.

О! Узнаю! Это опять они! Ангелы Господни! Это вы опять?

– Ну, конечно, мы, – и опять так ласково!..

– А знаете что, ангелы? – спросил я, тоже тихо-тихо.

– Что? – ответили ангелы.

– Тяжело мне…

– Да мы знаем, что тяжело, – пропели ангелы. – А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут…

– Красненького?

– Красненького, – нараспев повторили ангелы Господни.

– Холодненького?

– Холодненького, конечно…

О, как я стал взволнован!..

– Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется… Вы же сами знаете, каково в моем состоянии – ходить!..

Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:

– А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. Может, там чего и есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..

– Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду узнаю. Спасибо вам, ангелы.

И они так тихо-тихо пропели:

– На здоровье, Веня…

А потом так ласково-ласково:

– Не стоит…

Какие они милые!.. Ну что ж… Идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил, – не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил… А когда ты их вчера купил? вспомни… иди и вспоминай…

Я пошел через площадь – вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался – и застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть – больше того – есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался, и опять застывал.

– Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет. После охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго… Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандровой или между пивом и альб-де-дессертом?

Москва. Ресторан Курского вокзала

Нет, только не между пивом и альб-де-дессертом, там уж решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой – это очень может быть. Скорее даже так: орехи я купил до кориандровой, а уж конфеты – после. А может быть, и наоборот: выпив кориандровой, я…

– Спиртного ничего нет, – сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или как грязный лютик.

«Нет ничего спиртного!!!»

Я, хоть весь и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел? Может быть, мой экспресс на Пермь

по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из «Цирюльника».

Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа.

Нет ничего спиртного! Царица небесная! Ведь если верить ангелам, здесь не переводился херес. А теперь – только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я потому легко их на слух различаю… Ну, конечно, Иван Козловский… «О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков… О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных…» Ну, конечно, Иван Козловский… «О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован… Не отверга-а-ай…»

– Будете чего-нибудь заказывать?

– А у вас чего – только музыка?

– Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя…

Опять подступила тошнота.

– А херес?

– А хересу нет.

– Интересно. Вымя есть, а хересу нет!

– Оччень интересно. Да. Хересу – нет. А вымя – есть.

И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой…

Хорошая люстра. Но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову – будет страшно больно… Да нет, наверно, даже и не больно: пока она срывается и летит, ты сидишь и, ничего не подозревая, пьешь,

например, херес. А как она до тебя долетела – тебя уже нет в живых. Тяжелая это мысль:…ты сидишь, а на тебя сверху – люстра. Очень тяжелая мысль…

Да нет, почему тяжелая?.. Если ты, положим, пьешь херес, не такая уж тяжелая мысль, но если ты сидишь с перепою и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе еще на голову люстра – вот это уже тяжело… Очень гнетущая это мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою…

А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем сейчас 800 граммов хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и…

– Ну, как, надумали? Будете брать что-нибудь?

– Хересу, пожалуйста. 800 граммов.

– Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком: нет у нас хереса!

– Ну… я подожду… когда будет…

– Жди-жди… Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!

И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В особенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть…

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?! О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом – как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! – всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» – да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры…

– Кому здесь херес?!

Надо мной – две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них – о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности – я это понял по ним, по их глазам, потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие… Я весь как-то сник и растерял душу.

– Да ведь я… почти и не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подожду… я так…

– Это как то есть «так»!.. Чего это вы «подождете»!..

– Да пппочти ничего… Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девушке (ха-ха! «к любимой девушке»!) – гостинцев вот купил…

Они, палачи, ждали, что я еще скажу.

– Я ведь… из Сибири, я сирота… А просто чтобы не так тошнило… хересу хочу.

Зря это я опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал – о, боль такого позора! – через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами; тоже – вытолкнули.

Опять – на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!

Москва. К поезду через магазин

Что было потом – от ресторана до магазина и от магазина до поезда – человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы, – они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют.

Давайте лучше так – давайте почтим минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни – помни о них. В минуты блаженства и упоений – не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и

сострадания.

Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почтим минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь завалящий гудок – нажмите на этот гудок.

Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волосы мои то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди – тоже, и смотрят так дико: думают, наверное, – изваять его вот так, в назидание народам древности, или не изваять?

И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся из ниоткуда.

«Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

А я продолжаю стоять.

«Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами: «Ведь ты из магазина, Веничка?»

– Да, – говорю я вам, – из магазина. – А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево.

– Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?

– Ну, это как сказать! – говорю я, склонив голову вправо. – Чемоданчик – точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано…

– Так что же, Веничка, что же ты все-таки купил? Нам страшно интересно…

– Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас вспомню. Да – розовое крепкое за рупь тридцать семь.

– Так-так-так, – говорите вы, – а общий итог? Ведь все это страшно интересно…

Сейчас я вам скажу общий итог.

– Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек, – говорю я, вступив на перрон. – Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь еще купил два бутерброда, чтобы не сблевать.

– Ты хотел сказать, Веничка: «чтобы не стошнило»?

– Нет. Что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить, может, и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так – вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

– Зачем? Опять стошнит?

– Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать – сблюю.

Вы все, конечно, на это качаете головами. Я даже вижу – отсюда, с мокрого перрона, – как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головами и беретесь иронизировать:

– Как это сложно, Веничка, как это тонко!

– Еще бы!

– Какая четкость мышления! И это – все? И это – все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым? И больше – ничего?

– Ну как, то есть, – ничего? – говорю я, входя в вагон. – Было б у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь…

Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.

– О-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!

Ну, так что же? Пусть примитив, говорю. И на этом перестаю с вами разговаривать. Пусть примитив! А на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. Пусть примитив!

А вы все пристаете:

– Ты чего, обиделся?

– Да нет, – отвечаю.

– Ты не обижайся. Мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?

Тут уж я совсем обижаюсь: да при чем тут водка?

«Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

В самом деле, при чем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить, кроме водки. Далась вам эта водка! Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там еще не было. И в подъезде, если помните, – тоже прижимал, а водкой там еще и не пахло!.. Если уж вы хотите все знать, – я вам все расскажу, погодите только. Вот только похмелюсь на Серпе и Молоте, и

Москва – Серп и Молот

и тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю!

Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться! Зато по вечерам – какие во мне бездны! – если, конечно, хорошо набраться за день, – какие бездны во мне по вечерам!

Но – пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий – он очень дурной, этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо – верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот – если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение – это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю как вам, а мне гадок.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады, – так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно – и утром, и вечером – тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченый подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а Елисеевский – тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны…

Итак, что же я имею?

Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутерброда до розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал – и вдруг затомился и поблек… Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю? Но разве это мне нужно? Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, Господь, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь…

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:

– А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

– Вот-вот! – отвечал я в восторге. – Вот и мне, и мне тоже – желанно мне это, но ничуть не нужно!

«Ну, раз желанно, Веничка, так и пей», – тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет?

Господь молчал.

Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух томился в заточении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господи!

Серп и Молот – Карачарово

И немедленно выпил.

Карачарово – Чухлинка

А выпив, – сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность – так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня.

И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова, мой Бог не мог расслышать мою мольбу, – выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молился.

И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно.

Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары… Да.

Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела на меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами…

Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости… Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается:…глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза… Девальвация, коррупция, безработица, пауперизм… Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой – вот какие глаза в мире Чистогана…

Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса…

Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал?.. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило?

Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел – пусть. Может, я там что репетировал? Да… В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя – о, такое нашептал! – и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, – я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?

Вон – справа, у окошка – сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И пожалуйста – никого не стыдятся, наливают и пьют. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «А! Хорошо пошла, курва!» А умный-умный выпьет и говорит: «Транс-цен-ден-тально!» И таким праздничным голосом!

Тупой-тупой закусывает и говорит: «Заку-уска у нас сегодня – блеск! Закуска типа „я вас умоляю“!» А умный-умный жует и говорит: «Да-а-а… Транс-цен-ден-тально!..»

Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли – мавра или не мавра? плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти – пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром… «Закуска типа „я вас умоляю“!»… Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью – прячусь. Во время работы пью – прячусь… а эти!! «Транс-цен-ден-тально!»

Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность. Мое детство и отрочество… Скорее так: скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного – и сколько раз это губило меня…

Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн». Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво.

Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти четверо как-то отстраняют меня от себя, как-то шепчутся, на меня глядя, как-то смотрят за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже чуть тревожно… И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх… «В чем дело? – терзался я. – Отчего это так?»

И вот наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели: я выпил пива и затосковал. Просто: лежал и тосковал.

И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают – двое сели на стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну… Не иначе как что-то случилось…

– Послушай-ка, – сказали они, – ты это брось.

– Что «брось»? – я изумился и чуть привстал.

– Брось считать, что ты выше других… что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред…

– Да с чего вы взяли!..

– А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?

Чухлинка – Кусково

– Пил.

– Много пил?

– Много.

– Ну так вставай и иди.

– Да куда «иди»??

– Будто не знаешь! Получается так – мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред…

– Позвольте, – говорю, – я этого не утверждал…

– Нет, утверждал. Как ты поселился к нам – ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а отсутствием этого дела. Ты негативно это утверждаешь…

– Да какого «дела»? Каким «отсутствием»? – я уж от изумления совсем глаза распахнул…

– Да известно какого дела. До ветру ты не ходишь – вот что. Мы сразу почувствовали: что-то неладно. С тех пор как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну, ладно, по большой нужде еще ладно! Но ведь ни разу даже по малой… даже по малой!

И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленных.

– Нет, ребята, вы меня неправильно поняли.

– Нет, мы тебя правильно поняли…

– Да нет же, не поняли. Не могу же я, как вы: встать с постели, сказать во всеуслышание: «Ну, ребята, я срать пошел!» или «Ну, ребята, я ссать пошел!» Не могу же я так…

– Да почему же ты не можешь! Мы – можем, а ты – не можешь! Выходит, ты лучше нас! Мы грязные животные, а ты как лиле?я!..

– Да нет же… Как бы это вам объяснить…

– Нам нечего объяснять… нам все ясно.

– Да вы послушайте… поймите же… в этом мире есть вещи…

– Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет…

И я никак не мог их ни в чем убедить. Они угрюмыми взглядами пронзали мне душу… Я начал сдаваться…

– Ну, конечно, я тоже могу… я тоже мог бы…

– Вот-вот. Значит, ты можешь, как мы. А мы, как ты, – не можем. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами…

– Да нет, нет, – тут уж я совсем запутался. – В этом мире есть вещи… есть такие сферы… нельзя же так просто: встать и пойти. Потому что самоограничение, что ли?… есть такая заповеданность стыда, со времен Ивана Тургенева… и потом – клятва на Воробьевых горах… И после этого встать и сказать: «Ну, ребята…» Как-то оскорбительно… Ведь если у кого щепетильное сердце…

Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих.

– Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся. Сами читали. А ты лучше вот что скажи: ты пиво сегодня пил?

– Пил.

– Сколько кружек?

– Две больших и одну маленькую.

– Ну так вставай и иди. Чтобы мы все видели, что ты пошел. Не унижай нас и не мучь. Вставай и иди.

Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы их облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал: «С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным».

Да. И он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога, но для чего Он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не знаю. А это целомудрие – самое смешное! – это целомудрие толковалось так навыворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности…

Например, в Павлово-Посаде. Меня подводят к дамам и представляют так:

– А вот это тот самый, знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул…

– Как!! Ни разу!! – удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. – Ни разу!!

Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю:

– Ну, как то есть ни разу! Иногда… все-таки…

– Как!! – еще больше удивляются дамы. – Ерофеев – и… странно подумать!.. «Иногда все-таки!»

Я от этого окончательно теряюсь, я говорю примерно так:

– Ну… а что в этом такого, я же… это ведь – пукнуть – это ведь так ноуменально… Ничего в этом феноменального нет – в том, чтоб пукнуть…

– Вы только подумайте! – обалдевают дамы. А потом трезвонят по всей петушинской ветке:

«Он все это делает вслух и говорит, что это неплохо он делает! Что это он делает хорошо!»

Ну, вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар – кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет – «превратно» бы еще ничего! – но именно строго наоборот, то есть совершенно по-свински, то есть антиномично.

Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все – я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один-единственный случай, потому что он самый свежий: о том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирского поста за «внедрение порочной системы индивидуальных графиков». Все наше московское управление сотрясается от ужаса, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут ужасного, казалось бы!

Да! Где это мы сейчас едем?..

Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому случаю следовало бы мне еще раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу,

Кусково – Новогиреево

а уж потом пойду и выпью.

Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад – назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что я вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены.

Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом – известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один – вермут пил, другой, кто попроще, – одеколон «Свежесть», а кто с претензией – пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: сначала садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом – что же? – потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг друга: «Лёха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» Вставали, доигрывали в сику. А потом – ни свет ни заря, ни «Свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А потом – каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой – пили вермут, на третий день –

опять в сику, на четвертый – опять вермут. А тот, кто с интеллектом, – тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабан мы, конечно, и пальцем не трогали, – да если б я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «Свежесть».

И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия и до закрытия магазинов!

Отбросив стыд и дольние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге – в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодовольной усмешкою: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»

А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча, и неозаренные туманы, и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, – сказал, – вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? они прочли. Но вопреки всему, она на них сказалась удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «Свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт – и восторжествовала «Свежесть», все пили только «Свежесть».

О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии! – Они выпили всю «Свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!

И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, «маленький принц». Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков – известна ли тебе? Если б была известна, тебе было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «Свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян, и Абба Эбан!..

И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня наконец и поперли…

Новогиреево – Реутово

Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленевой бумаге, черной тушью, рисуются две оси – одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной – количество выпитых граммов, в перерасчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером – величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса.

Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой – столько-то и того-то. А я, черной тушью и на веленевой бумаге, изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина:

А это Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., потрепанный старый хрен:

А вот уж это – ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа, автор поэмы «Москва – Петушки»:

Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда – интересные? У одного – Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого – предрассветный бриз на реке Кама, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего – биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это – если видеть только внешнюю форму линии.

А тому, кто пытлив (ну вот мне, например), эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал: в один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось: эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве, – и, сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.

Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже – получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на «москвиче» в расположение нашего участка. Что они

обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика: Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось – ровно через тридцать дней после Вознесения. Один только месяц – от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, а на место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС с 1936 г. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь – они ему рупь не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил рупь – они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой «москвич» и уехали обратно.

И вот – я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы – по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорастом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – не такой.

Как бы то ни было – меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня – снизу – сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху – лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты, а ближайший аванс – послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

– Фффу!

– Кто сказал «фффу»? Это вы, ангелы, сказали «фффу»?

– Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!!

– Да как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтоб очень просыхал, но, во всяком случае, я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомнить… У меня всё полосами, всё в жизни как-то полосами: то не пью неделю подряд, то пью потом сорок

дней, потом опять четыре дня не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха… Вот и теперь…

– Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце…

Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? Он брюзжал и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука; а выпей четыреста грамм и завязывай». «Никаких грамм! – отчеканивал рассудок. – Если уж без этого нельзя, поди и выпей три кружки пива; а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь». А сердце заныло: «Ну хоть двести грамм. Ну…

Реутово – Никольское

ну хоть сто пятьдесят…» И тогда рассудок: «Ну, хорошо, Веня, – сказал, – хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома…»

Что же вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках – твое спасение и радость твоя, поезжай».

«Петушки – это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех – может, он и был – там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен…»

«Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета – белого, переходящего в

белесый, – эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше чем через два часа будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной – о, вы такое увидите!..»

«Да и что я оставил – там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы – вот что оставил! А что впереди? что в Петушках на перроне? – а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона – зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!»

«А там, за Петушками, где сливаются небо и земля и волчица воет на звезды, – там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву «ю» и за это ждет от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома буква «ю»? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он – знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов».

«Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока – вы уж простите меня – пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва».

И вот – я снова встал и через половину вагона прошел на площадку.

И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть.

Никольское – Салтыковская

– Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков, – подумал я, делая тринадцатый глоток.

– Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, – омрачает душу, пусть ненадолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, – но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать?

– Ну пусть. Пусть светел твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?

– Что ж они думают? Что меня там никто не встретит? или поезд повалится под откос? или в Купавне высадят контролеры, или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?

– Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.

– И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, если у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Совесть и вкус – это уже так много, что мозги становятся прямо излишними.

– А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?

– А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен – он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.

– И сказать почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это расходую все (все без остатка) и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен… Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, – мне бесконечно посторонне. Да. А о том, что меня занимает, – об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может, еще отчего, но все-таки – ни слова.

– Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: «Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!» А мне удивлялись и говорили: «Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?» А я говорил: «О, не знаю, не знаю! Но есть».

– Я не утверждаю, что мне – теперь – истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.

– И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво – сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем «скорби» и «страха». Назовем хоть так. Вот: «скорби» и «страха» больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, «мое прекрасное сердце» источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! – хоть это-то поймите.

– Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что «мировая скорбь» – не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?

– К примеру: вы видели «Неутешное горе» Крамского? Ну конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в эту минуту на пол что-нибудь такое – ну, фиал из севрского фарфора, – или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немыслимой цены, – что ж она? стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор, потому что на день или на три, но теперь она «выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра»!

– Ну, так как же? Скушна эта княгиня? – Она невозможно скушна и еще бы не была скушна! Она легкомысленна? – В высшей степени легкомысленна!

– Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и

демон, и пустомеля разом?

– Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание – весь этот остаток кубанской, из горлышка, и немедленно выпьем.

– Смотрите, как это делается!..

Салтыковская – Кучино

Остаток кубанской еще вздымался совсем недалеко от горла, и поэтому, когда мне сказали с небес:

– Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много…

Я от удушья едва сумел им ответить:

– Во всей земле… во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков, – нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим… И чего вам бояться за меня, небесные ангелы?

– Мы боимся, что ты опять…

– Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы… Я с каждой минутой все счастливей… и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо… как в стихах у германских поэтов: «Я покажу вам радугу!» или «Идите к жемчугам!» и не больше того… какие вы глупые-глупые!..

– Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь…

– До чего не доеду?!.. До них, до Петушков, – не доеду? До нее не доеду? – до моей бесстыжей царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы…

– Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до него не доедешь и он останется без орехов…

– Ну что вы, что вы! Пока я жив… что вы! В прошлую пятницу – верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать… Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся, круглый, как небо и земля… Но сегодня – доеду, если только не подохну, убитый роком… Вернее – нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней, я буду до утра пастись между лилиями, а вот уж завтра!..

– Бедный мальчик… – вздохнули ангелы.

– «Бедный мальчик»? Почему это «бедный»? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?

– О нет, до самых Петушков мы не можем… Мы отлетим, как только ты улыбнешься… Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся, как только улыбнешься в первый раз – мы отлетим… и уже будем покойны за тебя…

– И там, на перроне, встретите меня, да?

– Да, там мы тебя встретим…

Прелестные существа, эти ангелы! Только почему это «бедный мальчик»? Он нисколько не бедный! Младенец, знающий букву «ю», как свои пять пальцев, младенец, любящий отца, как самого себя, – разве нуждается в жалости?

Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу и все там были за него в тревоге… Но ведь он тут же пошел на поправку – как только меня увидел!.. Да, да… Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и никогда ничего не случалось!..

Сделай так, Господи, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза – пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господи. Если мать его затопит печку – он очень любит, когда его мать затопляет печку, – оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется… А если и

заболеет, – пусть как только меня увидит, пусть сразу идет на поправку…

Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали: он спит. Мне сказали: он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кроватки, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щеке вся была в жару, и было диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть жар…

Я выпил три стакана лимонной, прежде чем он проснулся и посмотрел на меня и на четвертый стакан, у меня в руке… Я долго тогда беседовал с ним и говорил:

– Ты… знаешь что, мальчик? ты не умирай… ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь подумать сам): очень глупо умереть, зная только одну букву «ю» и ничего больше не зная… Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?

– Понимаю, отец…

И как он это сказал! И все, что они говорят – вечно живущие ангелы и умирающие дети, – все так значительно, что я слова их пишу длинными курсивами, а все, что мы говорим, – махонькими буковками, потому что это более или менее чепуха. «Понимаю, отец!»…

– Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою «поросячью фарандолу» – помнишь? Когда тебе было два года, ты под нее плясал. Музыка отца и слова его же. «Та-та-ки-е милые, смешные чер-те-нят-ки цапали-царапали-кусали мне жи-во-тик…» А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак… «С фе-вра-ля я хныкала и вякала, на исходе августа ножки протянула…» Ты любишь отца, мальчик?

– Очень люблю…

– Ну вот и не умирай… Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова чего-нибудь спляшешь… Только нет, мы фарандолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу… «На исходе августа ножки про-тяну-ла…» Это не годится. Гораздо лучше вот что: «Раз-два-туфли-одень-ка-как-те-бе-не-стыдно-спать?..» У меня особые причины любить эту гнусность…

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/venedikt-erofeev/moskva-petushki-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити